

## СЮЖЕТЫ И ЛИЦА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 3.10.90 № 40 (5314)

## К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА



Снимок 1918 года

## ПЛАЧ ПО СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

«Расскажу, как», текла былая наша жизнь, что былой не была...». Не стала былой и та жизнь, какую Есенин Сергей прожил, радуясь и мучаясь, заодно с Клюевым. «Ладожским дьячком» — Клюевым. «Олонецким знахарем», хорошо знающим деревню, — Клюевым, «Апостолом нежным» — Клюевым, «Рисовальщиком словесной мертвенностии», русским Бердслеем — Клюевым. Не было промеж них просто друзей. Или только вражды. Была близость-распряя, но она-то в итоге оказалась прочнее и органичнее, чем иные, многие, есенинские прязни.

До свиданья, друг мой, до свиданья... Очевидно, что В. Эрлих, которому в канун Ухода Есенин вручил Прощание с другом, — и. о. адресата, доверенное лицо, временный держатель. Но кому же все-таки предназначено Писание и смерть? Уж не Клюеву ли? Вчитаемся в читаную-перечитанную, да, кажется, так и не прочитанную хронику предсмертных, с пропиской в «Англете», четырех дней Есенина.

Пятница. День второй. Проснувшись на рассвете, Сергей Александрович потребовал, чтобы Эрлих, заночевавший в гостинице (в последние годы Есенин панически боялся ночного одиночества), немедленно вез его к Николаю Клюеву. С тем же и в соседний номер, к четве Устиновых, кинулся, к «тете Лизе» и «Жоржу»: Клюев, дескать, Учитель, был и остался наставником, и он, Есенин, не может Николая не видеть, его одного, мол, любит. Еле-еле уговарили дождаться приличного для визита часа. Выехали вместе с Эрлихом около девяти. Не зная номера дома, попутали, но — разыскали, разбудили, подняли с постели и увезли с собой — в гостиницу. Есенин тут же стал читать свои последние, из ногайских журналов, стихи. Читал и не напечатанное. Отчитывался перед Учителем.

Клюев прослушанные не одобрил. Причем — язвительно: «Я думал, Сerezенька, что, если бы эти стихи собрались в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношес, живущих в России». Есенин от неожиданности покраснел, но вскоре подчеркнуто развеселился (обиженный слегка, он тут же наскачивал на обидчика, но ежели задевали всерьез, «затыкал душу» — чтобы в горе в пиру быть с веселым лицом...). Появилось пи-

окинув победно притихший от испуга зал, Клюев вышел в лекторскую и на недоуменный вопрос: «Как могли вы... — объяснил, доигрывая не отыгранное на сцене:

«Почто не слушал меня? Жил бы И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотри, чернота уж все-го облепила... А уж если весь черный, так мудрому отйти. А то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком, свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь — плакал».

Совсем уж всерьез это свидетельствование, кажется, принимать не следует. Но, думается, что-то недорадное «пестун» все-таки почуял, недаром же слыл вторым Распутином — «за колдующую силу зрачков!». А если почуял, то как же рискнул сказать человеку, у которого ничего не осталось, кроме стихов, что стихи эти никуда не годятся? Да еще прилюдно? Есенин, при всех его «чудачествах», такого себе не позволял. С другими — да, с Клюевым — нет. Скажем, история с клюевским «Четвертым Римом». Иванову-Разумнику без всякой дипломатии сообщили: «Рим...» на меня отягненное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы... «Сыр влюбленности» — да ведь это же... Марленгоф и Шершеневич со своими «бутербродами любви». Клюеву о том же самом написал куда осторожнее: и правды не утаил, и самолюбие не задел, и в положение вытегорского сидельца вошел. За наивность в издательских делах долго журил, а про главное — слашово и неуклюже — как о неважном, заметил, да тут же и обласкал: «От многих других стихов... в восторге». А еще прежде

предупредил: «не в себе, дескать, от «запойной болезни», даже и писать не хотел — боялся, чтобы как-нибудь беспринценно не сделать больно».

Клюев, увы, на уровне дружеской деликатности не удержался: хоть и не беспринценно, в своем праве был, а сделал болено.

«И простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине?»

Есенин простил: «Мильй мой, ты у меня в груди...» Ну, а Клюев? Судя по «Погорельщине», и он простил, и он повинился:

Вы же, кого я обидел  
Крепкой кириллицей слов,  
Как на моей панихиде  
Слушайте повесть о Лидде,  
Городе белых цветов!

Несмотря на множественное число (вы!), покаяние обращено, убеждена, прежде всего к Есенину. Его вторым — от Клюева нареченным именем: «Белый цвет Сережа» — назван город-рай, срубленный на незримой суше — чтобы было куда при来访, отчалившей Руси; да и срубленна Лидда толь-точка по есенинскому «аввилону». Есенин, «Ключи Марии»: «...Рай в музиком творчестве так и представляется, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тестом крытые».

Клюев, вспоминает О. Форш, «вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель... Он разделил помин души на две части. В первой — его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши-пестуну... и себе самому. Голосом, увлечившим до сладости...» сказал он свое известие о том, как

все и даже немного вина, общество ожидалось. Клюев сидел молча и рано, в четвертом часу, ушел, пообещав к вечеру вернуться. Но не вернулся. Не пришел и в субботу. А утром в воскресенье (день четвертый) Есенин, вроде как шуткуя, разрезал руку, дабы написать кровью последнее дружеское письмо. Показав его издали и «тете Лизе», и вошедшему вслед за ней Эрлиху, сунул с веселым лицом в карман эрлиховского пиджака — как в почтовый ящик бросил...

За отсутствием прямо названного адресата, на посланное до востребования отклинулись многие. Отозвался и Клюев. Я имею в виду не только «Плач по Сергею Есенину», сколько и его первое (авторское) исполнение — на поминальном вечере в Ленинграде. Замечательное по выразительности описание этого действия оставил Ольга Форш в «Сумасшедшем корабле».

Клюев, вспоминает О. Форш, «вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель... Он разделил помин души на две части. В первой — его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши-пестуну... и себе самому. Голосом, увлечившим до сладости...» сказал он свое известие о том, как

С Рязанских полей коловратовых  
Вдруг забрежжил коноплевый свет...

...Еще под обаянием... песенной нежности были люди, как вдруг Клюев... подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним накопленным ядом, что сделалось жутко:

...На том ли дворе,  
на большом ранчуке,  
Под заклятою черной матицей,  
Молодой детинушка себя сразил...

Жутъ на этом не кончилась. Сделав еще оди — кошачий шажок к рампе, поминальник «стал говорить уже не свои, а стихи того поэта, ушедшего. Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Михулов говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля... Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, с пьяной икою он кончил:

Ты, Рассея моя... Рас-сия...  
Азиатская сторона!»

...Замирающих строк бубенцы!  
Это последняя липа  
С песенным сладким дулом;  
Знаю, что слышатся хрюпы,  
Дрохки и тяжелые всхлипы  
Под мышам когда-то пером!

За каждой из выделенной мной фи-  
гулярностью — БУБЕНЦЫ, ЛИПА,  
ВСХЛИПЫ, ДРОЖКИ — прячется запер-  
тая на замок тайного (им лишь двоим —  
Учителю и Ученику понятного) смысла  
есенинская строка или даже куплет строк  
с тем же опорным образом: «Сегодня  
цветущая липа», «На этих липах не цветы»,  
«Где ты, моя липа?», «Осыпаются  
липки», «И эту гробовую дрожь», «Звать  
любовью чувственную дрожь», «Зары-  
дали разливные бубенцы» и т. д. Иногда,  
правда, не часто, Клюев «цитирует» Есени-  
нина и более развернуто, в сразу узна-  
ваемом виде, например:

Есенин:  
Лестница к саду твоему  
Без приступок.  
Как взойду, как поднимусь по ней  
С кровью на отцах и братьях?

Клюев:

Листва с храмом белым,  
Страстотерпным телом,  
Не войти в тебя!  
С кровью на ланитах  
Сгибнувших, убитых...

Если не знать об этом поэтическом  
секрете, невнятен до темноты и финал  
«Погорельщины»:

Цветок мой дитячий,  
Над тобой поплачет

го, в главный опорный символ — образ  
«Неопалимой Купины, сакрального куста,  
горящего и не сгорающего...»

Сцена собственно пожара — «отменно

знатной гары, испепеляющей и погост  
(селение), и церковь-купину, такому ис-  
толкованию не противоречит. Однако и  
поэма в целом, и год ее окончания —  
1928-й оснований для столь оптимисти-  
ческого итога, по-моему, не дают. Да,  
Русь как идея жива (самоспаслась и от  
глада, и от полымя, и от нашествия сара-  
чинянского), жива и даже одета в плот  
(Лидда-град). Но при этом недосыпаема и  
внemатериальна, как мираж. В пору  
«Избянных песен» (до всего) по уставу  
Клюевского Космостроя, рабочих дом  
надлежало хранить во глубине («Поло-  
щется в озере маковый свет, в пеганые  
глуби уходит столбом до сердца земно-  
го, где рабочих дома»). После этого и  
этот тайник кажется Клюеву ненадеж-  
ным: а что если вставшие на четвернь-  
ки (мы на четверньках, нам мышь да-  
треняться) слопают и сердце зем-  
ное — как сожрали младеня Васякту? И  
Клюев находит более верное место: где-  
то, а где не знаем сами, в некотором  
царстве, в некоем государстве — на  
Индийском поморье, во Саронских го-  
рах...

Не подвертываются под предложен-  
ное Н. И. Толстым толкование — «поз-  
ма пожара России», но пламя в этом по-  
жаре не уничтожающее, а очищающее  
— и следующие за Отменно-Знатной  
Гарью эпизоды, ведь Большой Огонь,  
по композиционному раскладу «Погорель-  
щины», — предвестник Глада и Лю-  
доедства, то есть Знак Беды, об этом и  
кричит-кричит прилетевшая на пепели-  
ще кукушка...

Больше того, и пепелище (погорель-  
щина), и хмарое от гары хромое солнце, и

Глухою хмарой от болот,  
По горенкам и повалушам  
Слонялся человечий сброд.

Александра Есенина:

«А на следующее утро, когда ночная  
прохлада остудила раскаленную землю,  
с красными глазами от слез и едкого  
дыма, который еще просачивался из  
недогоревших и потрескивающих бре-  
вен, бродили по пожарищу измученные  
и похудевшие за одну ночь погорельцы,  
собирая оставшийся после пожара же-  
лезный лом.. Хозяйки разыскивали в  
стаде овец.. собирали уцелевших и сра-  
зу одичавших кур».

Просто пожары не были редкостью в  
Константинове — слишком близко, вприн-  
ципе стояли избы. Но гарь 1922-го была  
особой — выгорело 200 построек. По-  
горели и Есенины. Огонь стер с лица  
земли и дом детства поэта — с чистой  
горенкой и голубыми ставнями, и толь-  
ко что заложенный его отцом яблоневый  
сад. Уцелела лишь «повалуша» (ам-  
барчик на задах) да одна-единственная яблонька. Как воспринял поэт известие  
о погибели старого Константина, мы  
не знаем, знаем только, что, вернувшись  
из «парижей», долго — год — не  
появлялся на родине. Уж не жмурился  
ли и тут: чтобы не увидеть «хуже» —  
пустое место вместо всего, что было  
было любимо? Есенин вообще, вопреки  
расхожим представлениям о нем, был  
скрытен, самое сокровенное держал при  
себе... Но один раз проговорился. Ин.  
Оксенов вспоминает, что в 1924 году  
в Ленинграде кто-то спросил поэта,  
бывает ли он в своей деревне, и Есенин  
ответил: «Мне тяжело с ними. Отец  
сидит под деревом, а я чувствую всю  
трагедию, которая произошла с Росси-  
ей...». Под той самой единственной ябл-



28 декабря 1925 года

одичавшие, ставшие человечьим сбродом погорельцы, беспамятно бредущие по своим горенкам и повалушам (летним спаленкам), написаны с такой не-  
посредственностью, так просто и так ре-  
алистично, что невольно приходит на ум: не отталкивается ли автор от какого-то  
реального, близкого сердцу переживания?

Сам Клюев, насколько мне известно, погорельщины не пережил, но он на-  
верняка слышал — не мог не слышать — от кого-нибудь из родственников Есени-  
на о константиновском пожаре в августе 1922 года (Сергей Александрович был  
в ту пору за границей). Во всяком слу-  
чае описание утра после «отменно вели-  
кой гары» в «Погорельщинах» и соот-  
ветствующий эпизод в воспоминаниях  
младшей сестры Есенина похожи чрез-  
вычайно, и вряд ли это простое совпаде-  
ние. Впрочем, судите сами,

Клюев:

С зарей над сгибающим погостом,  
Рыдая, солнышко взошло  
И по надречью, по-над логом  
Оленем сивым, хромоногим  
Заковыляло на село.  
Несло валежником от суши,

лонькой, что чудом уцелела в погорель-  
щину, и эта малолетка, без единого яблоч-  
ка, — все, что осталось у Александра  
Никитовича от «вспыхнувших надежд»  
лет, когда и он — заодно с деревянной  
Русью — старался жить; купил лошадь,  
заложил сад...

Трагедия, которая произошла с Росси-  
ней...

Трагедия, которая произошла с Есени-  
ним...

В 1926-м эти две трагедии в сознании  
автора «Плача по Сергею Есенину» явно  
не пересекались. Клюев, похоже, еще  
верит, что от «злого октября» можно  
спрятаться в «книжный угол».

К 1928-му (год завершения «Погорель-  
щины») они не только пересеклись, но и  
увязались узлом слияния. И Клюев на-  
писал как бы новый плач по Сергею Есени-  
ну, спел его по-клюевски, но на есенин-  
ский лад и мотив, да так, что места-  
ми «до тонкой верности похоже на го-  
лос того»:

За окном рябина,  
Словно мать без сына,  
Тянет рук сучье.  
И скучит трёзвод...

Алла МАРЧЕНКО